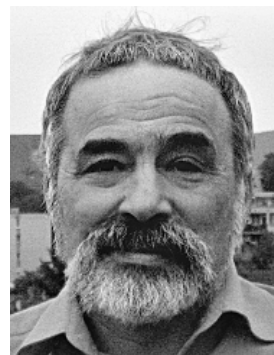


БОРИС ШИФРИН
Философ, математик



Родился в Ленинграде в 1950 году, закончил матмех ЛГУ и аспирантуру в Тарту (диссертация по вычислительным методам). В Тарту прослушал и ряд спецкурсов по семиотике. С конца 80-х — работы в области философии культуры, литературоведения и герменевтики. Исследовательские интересы — эвристика в широком диапазоне: связь научных и художественных практик; русский авангард (В. Хлебников, Д. Хармс, А. Горнон, А. Альчук); феноменология странного; концепция синестезиса; «философия мелочей»; хайку как опыт герменевтики внимания; поэтика притчи; город как пространство исполнения.

ЗАМАНЧИВЫЕ ГЛУБИНЫ. ВИД ИЗ ОКНА, ВИД С УЛИЦЫ

1. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: О МОТИВЕ ОКНА

1. Предлагаемые наброски связаны не столько темой, сколько «опытом блуждания». Я думал о том, чтобы привести к общему знаменателю опыт, связанный с переживанием дали, глубины, шири и выси. Но сейчас мне кажется, что категориального поля как чего-то *довлеющего себе* тут всё-таки не обнаруживается. Концепты предстают сценарно-обусловленными. Те или иные контексты, маршруты, сюжеты оказались сильнее попыток прийти к некоему смысловому инварианту (не говоря уже об «общем знаменателе»).

2. Поскольку означенные интуиции мыслятся как отвлекающиеся от предметности (или преодолевающие предметность), хотелось — на подступах к ним — обозначить близкие случаи из опыта *восприятия и внимания*. Такие случаи нашлись в связи с мотивом *окна*. Этот метафорический мотив возникает в практиках «любопытного натуралиста»¹. Вот отрывок из дневника Генри Торо:

«Я попадаю на какую-нибудь прогалину в лесу, где на снегу виднеются лишь несколько травинки и сухих листьев, а впечатление такое, словно подошёл к открытому окну. Выглядываю и смотрю вокруг»².

А вот описание, сделанное при совершенно иной биографически-личностной диспозиции вслушивания/прояснения:

¹ См.: Тинберген Н. Любопытные натуралисты // Природа. 1970. № 12.

² Торо Г. Дневники // Торо Г. Высшие законы. М., 2001. С. 364.

«Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало <...> моё внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно — не просто. Воистину что-то припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира, или точнее, глубже его. Полагаю, что это то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делают окна в другой мир. Со мной в детстве так бывало не раз. Но в то время, как иные явления всегда манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытиться, другие, напротив, открывали таинственную глубину свою лишь урывками, даже единично, раз только. Одним из таких восприятий были искры»³.

Павел Флоренский даёт это описание в качестве камертона к главе воспоминаний, называющейся «Впечатления таинственного». Не ставя задачу всестороннего сопоставления двух описаний, сделаем всё же ряд наблюдений. Мистическая нота, конечно, более определённо звучит у Флоренского, но и Торо ей не чужд. Но в данном случае (при том, что присутствие иного подразумевается в записках американского трансценденталиста) Торо прежде всего предстаёт как натуралист, доминирует акцент на эвристическую перспективу, на горизонт, открывающийся при том допущении, что внимание исследователя не утыкается в предмет, не пресекается на нём. Флоренский же занят самопознанием: ретроспективным анализом, истоками и личностными особенностями мышления. Образ непредметного (или распредмеченного) у Флоренского индивидуально-специфический, это апелляция к стихии, к архаическому, до-вещному миру: в своём явлении искры неквантифицируемы и не предметны (но нельзя умолчать и о том, что для Флоренского они ещё и символичны: это — символы таинственно-одушевлённого вообще). Итак, при всей близости этих двух случаев метафорического видения единого мотива *превращения предметной подробности мира в окно* мы тут всё-таки не имеем (у Флоренского мы не имеем и единого видения: у него, помимо основной метафорической линии, востребован и кантовский контекст, и контекст магических практик, и контекст символики).

3. Окно открывает миры иного. Даль, открывающаяся из окна, может мыслиться в связи с линейной перспективой. Эту перспективу как победное проявление власти Глаза, причём мыслимого инструментально, воплотил Л.-Б. Альберти в своей эмблеме крылатого глаза. Эмблема символизирует визуализацию как исследовательскую программу: манифестирует доступность мира высвечивающей/визуализирующей воле исследователя. Но вот у Мандельштама с этим мотивом происходит нечто странное, и не крылатый глаз возникает у него в связи с этим ренессансным кон-

³ Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней // Флоренский П. А. Имена. М., 2006. С. 671.

текстом, а (речь идёт о поэзии и судьбе Л. Ариосто) — *крылатое окно!* Опять оказывается, что погружение в глубины, иницируемое окном, есть (как модальность сознания и как форма жизни) нечто проблематическое.

4. В интереснейшей статье «О глубине кадра» М. Ямпольский отмечает, что окно-ведута есть не просто фактор композиции ренессансной станковой картины, соотносённый с доминирующей ролью линейной перспективы. Такое окно как раз могло разрушать единство перспективы (так сказать, единство кадра). В современном кинематографе пульсация общего (дальнего) и крупного плана, динамическое чередование «глубинности» и «плоскостности» вводит не некие идеологемы, якобы ассоциируемые с глубиной (или наоборот, плоскостностью) кадра, но сигнализирует о том, что объективная диспозиция сменяется видением и чувствованием субъективным, обусловленным уникальным модусом причастности к событию⁴.

Око. Окно. Этимологическая связь (как некая формула), обнаруживаясь, уже не кажется достаточной. Речь идет о том, что окно — это способ поставить вопрос о том, на какой черте или в каком месте обретается человеческое сознание как присутствующее в любом явлении далее и глубей, при очной ставке *этого* и *того*. Мистика соприсутствия окна и человека, трагизм, но и ирония этого соприсутствия с особой силой воплощены в произведениях Даниила Хармса. «*Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!*», — пишет он в стихотворении памяти Казимира Малевича. Но почему надо совмещать себя с тем именно, кто глядит из окна? Можно ведь и с улицы посмотреть на этого человека, с его страстью высываться. У Хармса есть, например, примечательная история о старушках, то и дело выпадающих из окон. Нравится это им, что ли? Этот хармсовский разворот к многообразию сценариев ободряет и автора данных заметок⁵. Если застыть у окна в безупречной позе всматривающегося, то ведь ненароком окажешься и выпадающей из окон старушкой. А вот этого не хочется.

2. ЗАМАНЧИВЫЕ ГЛУБИНЫ

1. Импульс к самодеятельному философствованию требует исследования. Попытка прояснить или реконструировать этот импульс может, по-видимому, исходить из следующего допущения. Упомянутый импульс

⁴ Ямпольский М. Б. О глубине кадра // Что такое язык кино. М., 1989. С. 171–186. Вот характерная для автора постановка вопроса: «Окно не просто заключает в себе некий пейзаж, оно включает в пространство картины иное зрение. Ведута вырезает в стене как бы иную картину, как правило, отличающуюся от живописи интерьера по всем параметрам: <...> отличны масштабы, тип освещения, колорит, сама структура живописи» (Там же. С. 177).

⁵ Хармс даёт более жёсткую экспозицию: вываливаются *старухи*. А далее следует комментарий, интонацию которого я как раз и имею в виду: «Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль». Цит. по изд.: Хармс Д. Полёт в небеса. Л., 1991. С. 356.

присущ и всякому философствованию вообще, но в философствовании «зрелом» он обособляется лишь как один из моментов. Таким образом, эта обособленность может быть понята только как место в некотором ряду. Здесь дело обстоит так же, как в случае реконструкции «наивного» (первобытного) мышления — такое мышление, как особая структура сознания, есть момент общей структуры когнитивно-познавательных процессов.

2. Речь идёт об эвристике повседневного обихода; о тех образах языка, которые актуализируются в качестве истока философствования⁶. Философствование начинается с удивления. Этот известный тезис означает, что мы ищем корень этого устремления в эмоции, уже не относящейся к ведению только лишь философии, но лежащей в основе всякого порыва к знанию. Человек удивляется тогда, когда то, что ранее было понятным или «невзрачным», вдруг предстаёт как-то неожиданно и приковывает к себе внимание; или когда в обычной ситуации начинает происходить нечто, ранее не виданное. Вот здесь и оказывается востребованной *мудрость*, причём в нашей языковой ментальности это осмысливается не обязательно с пафосом, а скорее — иронически: есть замечательное слово «умудрился». «Как это я умудрился не заметить этой ямы?». Но на самом деле как раз и заметил, споткнувшись: не яму, а сон сознания заметил. Заметил обыденную безотчётность существования, идёт ли речь о прогулке по местности или об обзоре политических новостей, важно — споткнуться.

Вряд ли стоит настаивать на каком-то именно *философском* удивлении, коль скоро мы пытаемся уловить некий общий исток. Но, кажется, какая-то специфика всё-таки намечается. Например, захваченность неожиданным разворотом наблюдаемых событий — то есть эмпирией *происходящего* — всё-таки присуща иным, не рефлексивным умонастроениям. Скорее (если речь идёт о *философствующем*) обращает на себя внимание определённая конфигурация, та или иная — ранее привычная! — совмещённость вещей (пятен, контуров, движений); или, например, нас останавливает слово, фразеологический оборот. Если вспомнить о словарях с их краткими разъяснениями, то покажется, что от такого оборота люди спешат отделяться, быстрее пройти это место, как слегка ненадёжную доску на мосту. Но есть люди, которые, споткнувшись, как раз задерживаются на этом моменте, откладывая в сторону собственные дела, иногда даже совсем запущенная их (у пишущего эти строки так произошло с фразой «идея носилась в воздухе»⁷). Человек, склонный к философской самодеятельности, занят с точки зрения человека деятельного чем-то не совсем разумным — он во-все не действует, а тормозит там, где останавливаться не следует; и тогда в его адрес звучит поразительно двусмысленный упрёк: во-первых, говорят, нечего тут усложнять! А во-вторых: смотри, ещё и провалишься!

⁶ Автор благодарен проф. К. С. Пигрову, привлечшему его внимание к образам «самодеятельной» рефлексии как аспекту философии повседневности («практической философии»).

⁷ Шифрин Б. Ф. О носящемся в воздухе и о воздухе *просто* // Международные чтения по теории истории и философии культуры. Вып. 17. СПб., 2003. С. 220–248.

Значит, близость опасных глубин всё-таки признается? Но что касается самого споткнувшегося, то его трудности иные. С одной стороны, он чувствует зов этих глубин, а заманчивое всегда может оказаться и заманивающим, обманчивым. С другой стороны, он обязан помнить своё первоначальное чувствование явления или вещи — то, «в котором» вещь *была простой*. От этой простоты ни в коем случае нельзя отказаться, её надо осмыслить — ведь пускаться в изыскания, исследовать, описывать сложный объект — это уже совсем иная познавательная установка.

Спотыкание есть проблематизация совмещённого. В предлагаемых заметках именно эта проблематизация — в связке с некой податливостью зову глубин — рассматриваются как своего рода ключи к импульсу самодеятельного философствования.

3. Концепт *совмещённости* в данном случае полагается в качестве исходного. В состав представления о совмещённости входит некая не акцентированная соположенность разных моментов в «кадре» зрения или воображения (образной репрезентации, умозрения и т. п.). Тут не обязательно наличествует артикулированность мест, вещей, качеств, «стихий» (таких, как продолговатость, округлость, или заострённость, зубчатость, дробность, сцеплённость, ветвистость и т. п.; имеются в виду и такие моменты, как особый блеск, сияние, освещённость и затенённость; в особенности же — привязанность одного к другому: динамичная привязанность тени к дереву или «статичная» привязанность дерева к ручью). Наоборот, совмещённость предшествует выделению мест, да и квантифицировать «объекты» не вполне удаётся, ведь когда человек сидит на камне, трудно сказать, один это предмет или два. Тут-то и обнаруживается подоплёка имеющего быть удивления. Замечательный пример подобного переживания дан В. Хлебниковым в начале его поэмы «Журавль». Ребенок, бросив взгляд на городской ландшафт с его подъёмными кранами, — события разворачиваются на набережных Невы — приходит в ужас: он видит, как оживают металлические городские трубы, они вдруг закачались, как стебли. Сам же автор комментирует это видение следующим образом:

*Так делаются подвижными дотоле неподвижные на болоте выти,
Когда опасность миновала, —
Среди камышей и озёрной кипи
Птица-растение главою закивала*⁸.

Близкий образ мы встречаем у Мерло-Понти, правда, трансформация совмещённого имеет у него обратную направленность:

«Если я иду по берегу моря в направлении севшего на мель судна, и если его труба или мачта сливаются с лесом, окаймляющим дюны, то должен наступить такой момент, все эти детали вдруг сойдутся в корабле, с ним

⁸ Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 189.

сольются <... > „Как же я не видел, что эти деревянные детали составляли с кораблём одно целое?“»⁹.

Но следует ещё прояснить вопрос, как соотносится совмещённость с тем субъектом, кому она является как данность. По мнению Мерло-Понти, нет чистого ощущения как такового, слияния способности ощущать с содержаниями перцептивного поля, при котором бы совсем выносилось за скобки то или иное качество причастности самого воспринимающего к возникающему совмещению. Нет, тот жест, которым я прикасаюсь ко всему, совместившемуся в перцептивном «кадре», есть особая компонента всего этого явления, причём именно с этим связано и то, что мы никогда не обнаружим восприятия, как оторванного от всяких смысловых полаганий. В действительности же имеет место некая функциональная или операциональная связь, так что происходящее в перцептивном поле оказывается отношением, в число аргументов которого входит и текущая конфигурация тела воспринимающего, характер его подвижности (актуализируемый на фоне такой «константы», как *схема тела*).

4. Теоретическая работа есть практика мысленного манипулирования совмещённостями, которая озабочена *отношениями* неких умозрительных объектов. В этом статусе сознание не встревожено предчувствуемыми глубинами. Можно сказать, что такая интеллектуальная практика сродни практике предметной, так или этак расставляющей вещи по местам. Об этом операционально-функциональном аспекте пишет Адамар в связи с психологией математического мышления. Имеются своеобразные волокнистые тела, которыми математик «обозначает» основных «участников» проводимого мысленно усмотрения: его способ иметь нечто в виду как раз и опирается на некие трансформации тех отношений и конфигураций, которые он строит при посредстве этих различных волокнистых тел¹⁰. Математик держит эти конфигурации *в уме*; это манипулирование происходит в особом концептуальном пространстве. По-видимому, эта же стадия мысленного рассмотрения присуща и тренированному мышлению философа. Это усмотрение, будучи работой на уровне предельных (абстрактных, идеальных) объектов, уже не нуждается в противопоставлении поверхности и глубины.

Однако этот модельный уровень не поглощает целиком ни математика и физика, ни философа. Мы уже говорили о том, что совмещённость самого субъекта с содержаниями его мысленных или перцептивных планов есть момент, становящийся виртуальным, коль скоро феномен берётся не только в рабочем порядке, но и в подлинно-смысловой перспективе. Таким образом, исследователь отрывается от методически проработанной плоскости и оказывается на границе неких глубин. Об этом сигнализирует

⁹ Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 41–42.

¹⁰ Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. М., 1970.

очередное недоумение странной совмещённости. Как это бывает? Например, в случае с открытием радиоактивности это произошло почти *буквально*. Опыт по флюоресценции образца, требовавший активного участия солнечных лучей, был прерван, образцы — соли урана — помещены в ящик письменного стола. Несколько пасмурных дней они вместе с фотопластинкой пребывали внутри ящика, и тем не менее пластинка оказалась засвеченной. Беккерель мог бы приписать это каким-то внешним причинам (негерметичности ящика или иному побочному «шуму») — ведь и тот эффект, который он исследовал, имел характер *внешне* индуцированного излучения (предметом рассмотрения была флюоресценция соединений урана и возможность возникновения в этих условиях рентгеновских лучей). Но исследователь смог оторваться от «модельной плоскости» и выдвинул гипотезу об имманентной эманации — спонтанном лучеиспускании, свойственном самому урану.

5. Ритмом жизни некоторые слова отодвинуты на задворки, и люди только изредка прислушиваются к таким концептам, как *глубь, высь, даль, ширь*; присоединяя сюда ещё «ясность» и «прозрачность»; замечаем, что речь идёт о визуальном представлении неких смысловых измерений. Но вот, коль скоро мы ставим вопрос об импульсах самодеятельного философствования, эти концепты/интенции выходят на первый план. Сначала отмечу, что подход с точки зрения лингвистической семантики тут, разумеется, не был бы лишним, но ведь он лишь ярче обозначает ситуацию как герменевтическую, а не сугубо предметную. В самом деле, задумавшись о семантических *полях*, мы уже подпали под обаяние далей и глубин. Гораздо важнее подчеркнуть особый модальный статус этих концепций/интенций. Ведь ширь, высота, даль — это размах, влечение, притяжение, зов. И тут к визуальному переживанию добавляются иные сенсорно-эмоциональные модальности. Головокружение, страх высоты, тяга, усиленное сердцебиение; в случае шири — опьянение простором и гипервентиляция лёгких; при углублении как погружении — ощущение того, как сопротивляется толща и как она давит; предчувствуется уже и нехватка воздуха, начинаешь задыхаться. Задыхаешься и при *восхождении*, но по-другому. Таким образом, и ширь, и глубь, и даль актуализируют себя в переживании даже не как образы, а как различные типы синестезии (синестетические комплексы). Имеются и синтетические символически-ценностные моменты, которые трудно ощутить вне стихии национального языка, а часто и вне некоего цехового диалекта¹¹. Например, словечко «*дали*» имеет совершенно особый смысл в том типе рефлексии, который предложили русские поэты,

¹¹ Синестезию можно рассматривать как особый случай *совмещённости*; но следует при этом учесть, что синестетические комплексы реализуют себя через посредство особых речевых жанров и символических практик; этот феномен можно назвать *синестезисом*. См. нашу статью: *Наброски к феномену синестезии // Логос живого и герменевтика телесности*. М., 2005. С. 425–478.

художники-символисты и теософски настроенные мыслители Серебряного века. Сюда ещё добавляется и определённая метафизика цвета — возникают дали синие, лазоревые, бирюзовые, огненные. Вы найдёте это не только у Врубеля, Рериха или Андрея Белого, но даже и у Бунина. Переживание дали — переживание пограничное, переживание стоящего на берегу, и лишь воображением переносящегося *туда*. Птица удаляется, удаляется судно, превращаясь в точку на горизонте, и мы, стоя на берегу, принимаем это длящееся исчезание-исчезновение как суть этой дали. Но в языке проработана и некая альтернатива этой страдательной позиции, она выражена словом *удаль*.

Я попробую удержать за *далью* именно оттенок этого теряющегося из вида удаления, эту визуальность расставания, хотя у слова есть и иные оттенки. Что же касается глубины, то я постараюсь говорить о ней вне «гравитационно-дыхательных» ощущений погружения и вне семантики высокого-низкого. Таким образом, и «бездонность» будет пониматься не в связи с пропастью. В качестве горизонтальной глубина приближается к дали, отличаясь от неё тем, что вдаль всегда уходит *другой* (он и позволяет нам почувствовать даль как измерение), тогда как углубляемся *мы сами*, держа в уме и ту исходную черту, с которой мы начинали. Не обязательно мыслить это так, словно бы мы продавливали открывающееся впереди пространство или растягивали остающееся позади, иногда мы чувствуем тягу с двух сторон: одна сила влечёт вперёд, другая, возвращающая, напоминает, что мы всё-таки далеко зашли. А бывает и некое поначалу лёгкое и безоглядное движение.

Стремление вглубь всегда реализуется, но эта реализация имеет тот или иной оттенок виртуальности. Как бы мы ни строили феноменологию глубины, мы всегда имеем в виду некое кинестетическое переживание, некое *движение* вглубь; ощущение, что при этом, хотя бы «в мыслях», по особому бьётся и замирает сердце, и дух захватывает. Совсем иное дело — случай, когда даже визуальных продвижений не требуется. Состояние, при котором объект, хотя и недоступный прикосновению, сразу открывается взгляду (вода и воздух исключительно прозрачны) — предстаёт нам как *ясность*. Нильс Бор состояние ясности полагал лишь одним из полюсов исследования, ибо концептом, дополнительным к ясности, он считал глубину. Однако как интервал сознания, как особое переживание времени, *углубление* этим замечанием Бора не вполне разъясняется. Действительно ли человек стремится к глубине, мыслит её как своего рода интенциональный объект? Или ему хочется нечто удалённое рассмотреть получше, и он, углубляясь, по сути дела стремится к ясности?

б. Один из сценариев углубления мне представляется следующим. В попытке избыть недоумение человек устремляется к удалённому предмету, не довольствуясь тем типом совмещённости, который изначально имелся как «предметная данность». Но углубляются в некотором направ-

лении, и это направление есть континуум, в нём нет вех. Веху выставляешь мысленно, и точка взгляда бежит впереди тебя как проводник или курсор. Таким образом, некий агент увлекает углубляющегося за собой. Когда этот одержимый достигает намеченной черты, он убеждается, что ожидаемого там нет; его влекло нечто иное. Он обманулся. Можно предположить, что само переживание смысла дорожит неопределённостью как сущностью горизонта и потому относит предмет влечения вдаль. Если не заменить такое влечение некой дисциплинированной эмоцией, то человек оказывается увлекаемым вглубь. Он словно гонится за кем-то, уводящим его в дебри; подбегает к дереву, пню, поляне, думая увидеть там вожделенную цель, но там уже никого. Ему опять померещилось, а, впрочем, что-то виднеется впереди, в глубине (образ глубины как прельщающе-заманивающего присутствия обнаруживается в фольклорных текстах; в феноменологическом плане подобные «лесные» коннотации встречаем у Ортеги-и-Гассета¹²).

7. Конечно, тут описана крайность, патологическая зависимость от прельщающего призрака, подобная наркотической мании: налицо и тенденция к безмерному, и опасность окончательного пропадания без вести. Но приведённый сценарий в ряде моментов перекликается с ситуацией самодеятельного философствования, и эти пункты надо выделить — с тем, чтобы обозначились и иные, отличные от этих пунктов, моменты. Общее, во-первых, в том, что удивление становится движущей силой и требует личного акта, попытки соотнести себя с предметом. Во-вторых, в том, что в обоих случаях приходится иметь дело с неукоренённостью, отсутствием внятного предмета рассмотрения. Ведь актуализирована не вещь как таковая, но вопрос, некий пункт странности. Эта исходная неопределённость предмета рассмотрения всегда подчёркивается на подступах к философии (хотя, на мой взгляд, тезис о том, что в случае естествознания мы, напротив, имеем дело с предпосланностью предмета, — тезис отнюдь не безупречный).

В то же время ощущается, что во многих отношениях описанный выше тип углубления совершенно чужд природе философствования. Влечение действительно может инициироваться удивлением, но погоня за призраком всё более овеществляет не философскую тягу, но либо страсть к обладанию, либо манию новизны¹³. В аспекте продуктивности этого порыва (важном с точки зрения науки, равно как и здравого смысла) требуется обеспечить такой контроль и самоотчёт углубления, чтобы его итеративный ритм не слился в одно нерасчленённое состояние галлюцинаторной влекомости. Углубление находит свою меру, черту равновесия, к которой оно будет возвращаться: так возникает гнездо, дом на поляне, нечто в статусе утверждения. Глубина оказалась важна не сама по себе, но как вопрос о том уровне, с которого следует закладывать фундамент.

¹² Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте». СПб., 1997. С. 41–43.

¹³ В отношении этого мотива трудно не сослаться на «Плавание» Бодлера (в поразительном переводе М. Цветаевой). См.: Бодлер Ш. Лирика. М., 1966. С. 163–169.

В конечном счёте, человек выдвигает ориентиры. Но удивление *философствующего* вряд ли стремится к обретению подобной позитивности. Коль скоро для него снят вопрос об *объяснении* некоего внешнего объекта, нет и возможности заманивающего движения. Речь идёт не об *объяснении*, а об *уяснении*, и тут недоумение не проецируется на странный объект, но переносится вовнутрь (переживание странности). Тут человек не гонится за призраком, но пытается саму тягу к совмещению отнести к неким внутренним постановкам сознания. К этому спектаклю, который разыгрывается на сцене феноменально данного в некотором внутренне-удостоверяемом освещении, надо всё-таки как-то отнестись, но совмещение, как жест визуального или мысленно-тактильного прикосновения к происходящему, тут вряд ли возможно; между тем рефлексия всё-таки не отменяет эту потребность в совмещении. Получается, что философствующий не только начинает с удивления, но и в дальнейшем проворачивает его в голове, так и не зная, к чему его применить. Но само это проворачивание, как и в случае тех облаков, которыми оперирует математик, есть не слепое движение, но деятельность человека с присущей ей мерой и масштабом.

3. ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОСТОТЕ УДИВЛЯЮЩЕГО. СИНЕСТЕЗИС

1. Речь идёт о том, что предмет удивления, даже в ощущении его странности (что-то с ним не так), всё же можно попытаться удержать в сознании в качестве *простого*. Концепция остранения (В. Шкловский), как её обычно излагают, предстаёт предметно-фундированным усмотрением / описанием. Между тем *переживание* странности выходит за рамки предметности. На самом деле страннеет не вещь, а мир; страннеет и собственное (?) Я¹⁴.

Если нечто не укладывается в голове, то мы и не знаем, где бы можно было его поместить, и вообще, как нам с этим *быть*. Но что касается чисто предметного аспекта, то в этом случае уместно сослаться на концепт *феноменологически простой вещи*, который выдвинут М. Шелером¹⁵. Обнаружение совмещения (последующее за примечанием чего-то как странного) — это отнюдь не то же самое, что *разложение* предмета (его анализ в качестве комплекса: анализ, уже лишаящий предмет статуса феноменальной данности). Напротив, обнаружение совмещения выявляет и наши ощущения простоты, причём не как ошибочные. Или, во всяком случае, обнаруживается совсем иная непростота: непростота «данности ситуации», непростота «всего кадра», а не предмета. Совмещённость являет себя как

¹⁴ Эту тему — в более развёрнутом виде — я рассматриваю в статье: Поэтика странного в русском модернизме: от Хармса к Хлебникову // Художественный текст как динамическая система. М., 2006. С. 579–586.

¹⁵ Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999.

раз в тот момент, когда она заменяется другой, то есть перестаёт наличествовать: в сущности, мы наблюдаем данность как превращение данности. Это аналогично тому, как и отнесённость вещи к месту (локативность как некую характеристику состояния вещи) мы обнаруживаем только когда вещь меняет своё место, перемещается.

Это замечание я не стал бы включать в какой-либо «окончательный» текст. Я не знаю пока, где оно осядет. Но речь идёт о том, что, нащупывая ту непредметную стихию, ту интуицию, которая подразумевает и опыт странности, и переживание глубины, мы оказываемся под воздействием ряда обаятельных (прельщающих) установок или практик, которые пытаются избыть странное (совладать со странностью).

Первая начинает препарировать, исследовать странную вещь. Фактически тут мы не только не удерживаемся в ощущении тайны (как присутствия), но не удерживаемся и в горизонте загадочного. Иное заменяется тут на иносказательное, загадочное на загадку, а по сути, на аналитически развёрнутую проблему; ставится чисто языковая задача перевода с символического языка Книги природы на язык естественнонаучного описания.

Вторая практика — практика не исследования (в которой исследующий субъект агентивен), а *увлечения*, в которой увлекаемый ведóm и отказывается от своей воли. Вероятно, это даже и не практика... но это, во всяком случае, специфическая *форма жизни*. Она может поддерживаться не ожиданием предметно-обозримой (экспонированной) истины, а ожиданием некоего иного блага (даже чаянием эпифании), и имеет не исследовательскую доминанту, а поглощённость жизнью (и притяжением) иного сознания. Это некая герменевтическая тяга, восполняющая нехватку «жизни сознания» за счёт чужой тайны. Её ошибка в том, например, что она опредмечивает влечение (каждый раз заблуждаясь) и, что не менее пагубно, чисто семиотически разыгрываемую загадочность (неполноту мельком показывающегося «ведущего») принимает за таинственность (то есть некое проявление Полноты жизни и мира). Если первая практика есть отказ от таинственного (то есть от целого жизни как *иного* для разума), то вторая есть отказ от рефлексии и самоотчёта (то есть от разума, требующего определения локусов данного состояния) в пользу таинственно-жизненной стихии. В обоих случаях мы имеем иллюзию.

Первое умонастроение видится под знаком гнозиса. В нём есть иллюзия преодоления *агнозии*, то есть смыслового нераспознавания. Интеллект, проводя аналитические разрезы и т. п., даёт некие сечения, по которым стремится восстановить живое и целое. Но оно на самом деле такими экспозициями (и синтезами) не схватывается, и поэтому сциентистское сознание, если б ему хватило честности, должно было бы быть переживанием неузнавания интенционального (на уровне сигнификата), то есть агнозией.

А увлечённость жизненным потоком, персонифицируемым в виде мерцающего и углубляющегося в иное огня, увлечённость ведущим и его

иллюзорным промельком — это другая болезнь сознания, патология экстенциональная: *бред и галлюцинация*.

Что касается интуиции *полноты*, то некоторым разъяснением к ней для меня служат сочинения С. Л. Франка¹⁶. Но я думаю, что нам она «даётся» как некая стихия (и разумение) *исполнения*. Нет, не даётся, и даже не пред-стоит, но призывает, поддерживает и т. д. Наполняет смыслы жизнью и наоборот.

2. *Синестезис* иногда сближают с синтезом. Особенно часто это наблюдается при описании культуры Серебряного века. Но это не точно. Синтез имеет в виду целостность, создаваемую из отдельных компонент. Но органы человека, его чувства, его миры не есть ни компоненты, ни части, ни элементы. Человек не синтезируется из отдельных органов, живое тело не является «членораздельным». Ошибка (смешение синестезиса с синтезом) связана с непрояснённым представлением об инструментальности органа и об ансамбле. Значит, речь идёт о том, чтобы наново продумать *модальность исполнения*. Речь идёт и о том, чтобы, воспринимая вещи как удивительные и простые, восходить к полноте. Полнота — не то же, что целостность.

Перспективу непредметно направленного восприятия, восприятия как *исполнения*, я пытаюсь описать как *синестезис*. Синестезис — не просто метафорическая референция от цвета к температуре и т. п. Наши чувства привыкли сотрудничать (ощупывающий глаз). *Орган* — не абстрагирующее обособление одной специфической функции; в технике такое бывает, но это называется иначе (*автомат*). Если отдельный орган берёт на себя роль выразителя иных регистров чувствования (слух — цвета, сердцебиения, осязания, головокружения), то это есть усилие восполнения.

Орган это не одна функция, это сам человек, но в другой перспективе трансценденции; орган восполняет себя до целостности человека; человек — до целостности мира. Флоренский пишет, что он ощущал себя как бы пластинкой Хладни (она визуализирует вибрации космоса)¹⁷.

¹⁶ Франк С. Л. Реальность и человек. СПб., 1997. Согласно Франку, глубина и прозрачность — два переживания (усмотрения), свидетельствующие об интуитивно-жизненном и непредметном опыте постижения сущного как о *реальности* (не совпадающей с миром предметно-действительного). При этом *прозрачность* сопутствует опыту эйдетического усмотрения (и удостоверения в бытии непредметного). Что же касается *глубины*, то она связана с интуитивно-жизненным постижением. Как мне представляется, в этом случае узрение оказывается не категориально-диспозиционным, но концептуально-сценарным; концепты привязаны не к полям категоризации, но к некоторым *сценариям*. Вот об этих сценариях я и размышлял в «Заманивающих глубинах».

¹⁷ «<...> во мне была повышенная впечатлительность, никогда не смолкавшая внутренняя вибрация всего существа от заветных впечатлений. Это почти физическое ощущение себя струною или скорее хладниевой пластинкой, по которой природа ведёт смычком: не в душе, а во всём организме, почти ухом слышимый, вибрирует высокий и упругий чистый звук, а в мыслях складываются схематические образы, ну просто — хладниевы фигуры как символы мировых явлений». Цит. по изд.: Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней // Флоренский П. А. Имена. С. 700.

Синестезис — это ещё и символические практики, культивирующие расширенное (восполняющее) восприятие. Есть чувствования, возникающие в когеренции чувств и вниманий двух (и более) людей; такова, например, особая интуиция, связывающая мать и ребёнка. Я не могу сказать, что в моё толкование синестезиса не входит представление о синергии. Видимо, входит.

4. ВЛЕКОМОСТЬ КАК ВЕКТОРНАЯ ПРОБЛЕМА

1. Идеально-типическое отнесение действия к «целе-ориентированному» акцентирует конечный пункт, полюс притяжения. Но ведь не менее важен *исходный* пункт. Моё положение дел. Без этого никакой рациональной диспозиции (нужной для решения поставленной задачи, равно как и для *понимания* о какой задаче идёт речь) мы не имеем. Собственно говоря, мы не имеем и действительной постановки задачи. Это тем более существенно в случае, когда мы именно исходим из желаемого результата и движемся от него к исходной ситуации. Телеологическая инверсия такого рода как раз требует прояснения начального состояния (нашего *здесь и теперь*) как в некотором смысле *конечного* пункта. Помещение действия (в интересующем мире) в свободную модальную перспективу (в частности, привлечение понятия *проекта*), по-видимому, снимает ряд напряжений, связанных с идеальными типами М. Вебера. Или, во всяком случае, открывает более широкий кругозор.

2. Человек, стремящийся за морочащим его призраком-курсором (*подвижной мишенью*, по выражению Бодлера), не только испытывает иллюзию относительно «цели», которая предстаёт дальними вехами, всякий раз мнимыми: есть ещё одна (не менее тревожащая) особенность этого увлечения. Он не даёт себе отчёта в том, какова каждый раз его *отправная* точка. Ради некоего «там» (вернее, «туда!») он утрачивает всякое «здесь». Он даже не успевает осмыслить этой дейктической фрустрации. А ведь «я-здесь-сейчас» есть некое единое онтологическое переживание (на компоненты его делят только условно, апеллируя к грамматике).

3. Осознать пункт «я-здесь-сейчас» можно только сделав остановку или, во всяком случае, выйдя из сеанса влечения в иной интервал сознания. Конечно, абсолютного осознания не произойдёт, но произойдёт акт речи, обращённый к окружению (в жизненном мире), ибо дейксис есть измерение *высказывания*. Итак, замешкавшись и занявшись «своими делами», человек фактически устраивает привал, ставит палатку — возникает «это», дом. Пункт привязки.

4. Почему оказалась такой приманивающей эта вакансия, виртуальная точка курсора? Очевидно, потому, что мы не знаем, как быть с пространством, очищенным от предметов, как присутствовать, не держась за некий ствол дерева и т. п. *Вакансия* — это не предмет. Может, это дыра? Не ясно.

Мы понимаем, что пустого пространства не бывает, но вместо вещественного помечания мест нам теперь предлагается виртуальное. Мы теперь избываем пустоту модальным образом (имагинативно, интенционально, метафорически). Что значит «теперь»? Ну, в этом не все единодушны, это зависит от того, как толковать нашу *современность*. Если она авангардная, постмодернистская, то мы можем «иметь в виду» простор, где *вещей уже нет*. Мы прошли через отказ от предметности, через беспредметное. Но можно сделать вид, что мы живём в эпоху досократиков, когда вещей (предметов в нашем смысле) ещё *не было*. Тогда есть только стихии. Они и есть «пространство». Вот этот анахронизм особенно захватил Гастона Башляра.

На самом деле и наши символисты не были этого чужды. Между прочим, этим атмосферическим интуициям, бурям и т. п. удаётся всё-таки достичь одной замечательной вещи. Дали не просто *там*. Но в отношении их возможно и направление: «оттуда». Только, к сожалению, это «оттуда» не тождественно нашему «сюда». Борису Пастернаку удалось наконец представить даль как свою, начинающуюся сразу за заставой, и в себе не уверенную. Она, обозначаясь на выезде, соседствует у него с какой-то «мощёной привычкой тротуаров». Она у него в единственном числе, эта вот, не какая-нибудь чужая. Но Александр Блок, конечно, о таких домашних разборках с *далями* и не помышлял:

«...быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа: Врубель видит сорок разных голов Демона, а в действительности их не счесть»¹⁸.

5. *Синица в руках не хуже журавля в небе...* Не в этом дело, а в том, что и как художественная задача она (синица) не проще. У нас две руки, и поворот головы уже предопределяет нашу развёрнутость в целом. А синица — она ведь со всех сторон, тут нужно видеть и затылком тоже: вот чему учит Михаил Матюшин. Чем близок мне авангард *органической школы* (и даже нынешний дизайн, ландшафтная архитектура)? Нас, кажется, освободили от заманивающих далей и высей (про глубины умолчим. Углубляемся мы сами, так что пусть судит кто-нибудь со стороны). Ветер, дующий *оттуда*, — это гнозис легенды. Иногда он символизируется золотистым свечением (это у Чюрлёниса). Иногда на драматическую площадку из неких далей выступают ещё и тона тёмно-лиловые (это у Врубеля). Но это ушло.

¹⁸ Блок А. О современном состоянии русского символизма // Блок А. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1955. С. 155.

Осталась ширь (если осталась!), которая вовсе не измеряется дистанциями, но предполагает другую антропологию, затылочное зрение, обзор на все 360 градусов («расширенное смотрение», *Зорвед* Матюшина). Это — *пространство исполнения*. Оно и участвует в наших постановках, и само выступает в качестве актора. Оно не дано, но предложено к исполнению. Я не могу здесь подробно говорить о методах и идеях Матюшина. Я ограничусь комментарием к раннему стихотворению Б. Пастернака, которое передаёт даже не интуицию, а *интонацию* пространства исполнения: не общего, а единственно (и событийно) «этого».

*Весна, я с улицы, где тополь удивлён,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельём
У выписавшегося из больницы¹⁹.*

Строки вводят нас в действительность исполнения, не подсвеченную гнозисом легенды: случай исцеления от цветосимволизма (никакой от апелляции к константам вечности). Тут есть некая перепутанность или сдвинутость регистров восприятия, некая окказиональная синестезия. Как бывает после болезни или затворничества, человек обнаруживает себя на улице с чувством перцептивной преображённости, странности всего, что есть. Минута исполняется не в видении самом по себе, но в зрении головокружения и пошатывания. Конечно, в этом есть момент импрессионизма, но есть и определённое объяснение причин появления такого воздуха — синь это не только цвет, это синька — краска, домашняя, городским предместьем дышащая, деталь быта. Бельё при стирке подсинили, вот и небо такое, ещё не передержанное в синем, — особого цвета, чистого, прозрачного, но не спектрально-насыщенного, а скорее даже бледного. Бледность, бедность, простота — точное именование цветового оттенка заключается в ракурсе самой процедуры изготовления этого цвета рецептурно. Никакой референции к семантике синего тут нет, а есть уникальность звучания именно этой ноты в целостной композиции, в музыкальной (или театральной?) совмещённости всех моментов и чувствований этого эпизода.

б. В чём же всё-таки дело? Чем меня не устраивают дали? Что меня смущает в этом *отстоянии* измерений? Высь, даль, глубина — в интенции *туда*. В особом устремлении, перспективе. В чаянии трансценденции, если заострить предельность (радикальную тональность). Моя диспозиция (я-здесь-сейчас) не просто временная, она вся имеет место в конечном, ничем не выделена в некотором сером ряду и т. п. Относительна и безнадёжна в отсутствии каких-то нерелятивных привязок.

¹⁹ *Пастернак Б.* Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб., 2003. С. 169.

Но ведь всё не так! Мы уже погружены. Мы уже в особой среде. Эту явь, настолько достоверную, что ей и переноса внимания *туда* уже не требуется, мы вряд ли мыслим в образах пространства. Но если уж прибегать к ним, то в какой-то степени — это ширь... мгновение как данность всего сразу. Исполняющее пространство, действительность ис-полнения. И в прошлом оно, и в нынешнем, и в будущем. А какой ещё чудесной *сейчасностью* оно наделено! Разве это не «божественная среда»? Вот и Арсений Тарковский пишет о выходящих на сцену и *уже* явленных слоях (отложениях, слоениях, осаднениях) нашей жизни (родовой, семейной, и не отделяемого от них личного — с младенчества — опыта). О корнях и слоях нашей собственной жизни, которые — целые миры. И они — здесь²⁰.

Туда, от-сюда — это в чайные прибежища. Или пристанища? Первое не только в перспективе спасения, но и в страхе смерти. О втором еще надо подумать. Но дом — это очень многое. Это и такое пристанище или прибежище, когда я впускаю иное (а не отношу себя туда). Даю пристанище или прибежище. Мы уже погружены. Уже при рождении и до него.

5. На прогулке (17 июня 2009)

1. Весь день шёл дождь. И сейчас, к полночи, утих, но не перестал. Иду Карповкой, вдоль Ботанического Сада, пока набережная не заканчивается. Тут (уже миновав катера на приколе) спуск к воде. Река поднялась, вода стоит вровень с нижней ступенькой, заливают — по всей длине — гранитную полосу-дорожку с чугунными кольцами для причаливания.

Принято говорить о *черте* берега. Вода выходит из берегов, заставляя нас отступить, — события разворачиваются на плоскости, как будто бы город — некая горизонтальная площадка. За которую спорят человек и водная стихия. Но суть наводнения как раз иная. Чтобы распространиться вширь, вода сначала должна *подняться*. Я привык мыслить пространство в противопоставлении измерений: одно дело высь и глубь (вертикаль), другое — ширь и даль. Но тут вдруг оказывается, что движение вширь есть продолжение движения ввысь.

2. *Территориальный спор* соседей предстаёт в этом развороте мысли как нечто совершенно непонятное. Ведь власть имеет вертикальную семантику, символы её — вертикальны. Тут-то и начинаешь догадываться,

²⁰ Первая строфа стихотворения А. Тарковского «Жизнь, жизнь» заканчивается строками:

*Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идёт бессмертье косяком.*

(А далее: *Живите в доме — и не рухнет дом*). См.: Тарковский А. А. Вестник. М., 1969. С. 211.

что следует отличать власть от господства. Господство над горизонтально-протяжённым (область, ширь), казалось бы, требует только силового поля, тоже горизонтального. Но оно утверждает (легитимизирует) себя — как право — апелляцией к властной инстанции — к вертикали²¹. Чтобы править, утверждать некий порядок в горизонтальной плоскости, закон должен быть утверждён по оси вертикальной, как некий столб. Это видение, между прочим, лежит в основе пушкинского «Медного всадника» (причём как абстрактная модель оно было продумано уже в «Анчаре»).

Отмечу ещё, что это модель не электростатического, а вихревого (магнитного) поля. Концентрические линии возникают вокруг вектора плотности электрического тока (он и есть вихрь, генерирующий эти линии). За порождение горизонтального поля отвечает вертикаль.

Я в этом рассуждении всё же отойду от проблемы «власть и господство/подчинение» (хотя предложенный ракурс кажется мне необыкновенно интересным). Просто я в последнее время был захвачен темой *дистанции*; концепты *исполняются*, как выразился Ю. С. Степанов. И вот феномен исполнения этого концепта — то, как люди категоризируют расстояния: зональные центрации; близко-дальне-средне-действие (в среднедействии как раз и вся суть!) — это я пытался осмыслить (думаю, что при этом я так и не сделал выбор между герменевтикой и философской антропологией). Но коль скоро регионализация (в частности, зональное районирование) мыслится как проблема территориальная или меж-территориальная, то и сама область «между» (интерсубъективность и пр.) выступает при этом как нечто планиметрическое. И вот с этим надо разобраться. Ведь такое виденье уязвимо не только теоретически, но и с точки зрения социальных практик. Правда, география относит-таки все свои штудии к земной поверхности и карте. Но коридоры для полёта самолётов (диспетчерская практика и т. п.) уже не вписываются в эту рутину.

Мы не поймём *человеческую дистанцию*, если будем мыслить её в терминах долготы и широты, а тем более, если будем представлять ширь как ширину. Противопоставляясь тесноте и узости, ширь уже востребует себе высь и глубину. Река, стеснённая в своих берегах, углубляет русло.

3. Почему высокое дерево выдерживает порывы ветра? Это (при ограниченных ресурсах гибкости) может происходить только благодаря тому, что корни дерева идут вширь (но и вглубь тоже). Это уже немного о другом. Ведь травинка, стебель тоже не боятся ветра, хотя они слабы и не слишком укоренены. Но тут выручает гибкость, о чём и сказано в трактате Лао-Цзы. Живое взрослеет, растёт и длится за счёт того, что по мере роста

²¹ Граница не только есть идеализация, она трансцендентна по отношению к разделяемым областям. Вот почему люди выставляют заборы и стены. И по этой же причине неразрешим древний спор о том, принадлежат ли мне плоды с ветвей, свисающих на территорию соседа.

меняет принципы выживания (подобно тому, как с возрастом меняются у нас типы памяти). Затвердевая, поднимая всё выше свою крону, дерево расширяет корневую систему. Это очень любопытный процесс. Сосны в лесу — не то же, что кустарник. Выживают только обособленные деревья, так что каждое господствует над некоторым локусом (окрестностью). Но этого, видимо, недостаточно, и находится иное решение: ствол тянется ввысь, чтобы уже никто не отнял у дерева насущную долю солнечного света. Тут вступают в игру обратные связи: устремляясь ввысь, дерево должно распространять корни вширь. Это укоренение можно представить себе как социализацию дерева. Так или иначе, горизонтальные ресурсы весьма ограничены фактором соседства.

4. Мы в городах надеемся на твёрдость камня и стали. Это доминирует, несмотря на идеи гибкой сейсмозащиты. От досок мы перешли к бетону. Какие твёрдые полы у нас в комнатах! Непонятно, как мы выживаем. Подошвы обуви и *позвоночные диски* не справляются с требованиями амортизации. К сорока годам типичный горожанин — человек с болями в спине.

Правильнее сказать — межпозвоночные диски. Вот так возвращается к нам тема дистанции, проблематика «между» — основная во всех разговорах о коммуникации. Утеснение человеческих единиц на площадях и рок-концертах повторяет себя в утеснении наших позвонков. *Общее чувство* — даже если его представлять как Разум — всего лишь нечто, вознесённое над площадкой. Дело не в том, чтобы различить субстанцию мыслящую и субстанцию протяжённую. Дело в том, что разуму не удаётся укорениться своевольно, и наши корни бродят в земле вслепую. Они переплетают друг друга, но и теснят. Не обязательно представлять эту сеть как подземную. Можно укорениться в Клубе, в Интернете, мало ли где. Пожалуй, речь идёт о том, что нам недоступно подлинное укоренение. Ведь вакансии в сети — это, скорее, некие дыры. Осталось повторить то, что некогда уже было сказано, но, видимо, не было прочувствовано. Застрять в дыре — не значит укорениться.